

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ



ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

#эксмогетство

Москва
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Г58

Гоголь, Николай Васильевич.

Г58 Вечера на хуторе близ Диканьки / Николай Гоголь. — Москва : Эксмо, 2018. — 320 с. : ил. — (Классика).

ISBN 978-5-04-093821-6

Трогательные, милые, добрые, пронизанные мягким юмором и невероятной симпатией к своим героям, их традициям, — таковы гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки». В книгу вошли все 8 повестей, включая и самые известные «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Страшная месть», которые были экранизированы. «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности» — так отозвался об этом произведении великий русский поэт А.С. Пушкин. Возвращают к традициям и «старые добрые» иллюстрации.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-093821-6

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2018



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

«Э то что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! ещё мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Ещё мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дёрнула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в неё».

Слышало, слышало вещее моё все эти речи ещё за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! Это всё равно, как, случается, иногда зайдёшь в покой великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Ещё бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошёл, мужик, пошёл!..» Я вам скажу...

Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдохнуть на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчёл в тёмный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонёк, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы!* Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберётся в одну хату толпа девушек совсем не для бала, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретёна шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрипачом — подыметя крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде,



может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел

он отпускать! Две из них найдёте в этой книжке. Он никогда не носил пестрядёвого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвета застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дёгтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдёт рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападёт. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчёт этого славную сплёл присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашива-

ет отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хватъ его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин. — Как же они, чёрт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереде комнаты, нагнул голову немного вперёд, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щёлкнул пальцем по намалёванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растёртого с золою и листьями любистка, поднёс её коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли ещё не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»... «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кныш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к кнышу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Ещё был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нём) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не

помещал их сюда. Ещё напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как чёрта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового года и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдёте побасёнки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, — лень только проклятая рыться, — наберётся и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил её на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живёт пасичник Рудый Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведёт вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам ещё покупные.

Зато уже как пожелаете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а мёду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесёшь сот — дух пойдёт по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течёт по губам, когда начнёшь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть пудру с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панько.

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Бандура — инструмент, род гитары.

Батог — кнут.

Болячка — золотуха.

Бондарь — бочарь.

Бублик — круглый крендель, баранчик.

Буряк — свёкла.

Буханец — небольшой хлеб.

Винница — винокурня.
Галушки — клёчки.
Голодрабец — бедняк, бобыль.
Гопак, горлица — малороссийские танцы.
Дивчина — девушка.
Дивчата — девушки.
Дижа — кадка.
Дрибушка — мелкие косы.
Домовина — гроб.
Дуля — шиш.
Дукат — род медали, носится на шее.
Знахор — многознающий, ворожей.
Жинка — жена.
Жупан — род кафтана.
Каганец — род светильни.
Клёпки — выпуклые дощечки, из коих
составлена бочка.
Кныш — род печёного хлеба.
Кобза — музыкальный инструмент.
Комора — амбар.
Кораблик — головной убор.
Кунтуш — верхнее старинное платье.
Коровай — свадебный хлеб.
Кухоль — глиняная кружка.
Лысый дидько — домовый, демон.
Люлька — трубка.
Макитра — горшок, в котором трут мак.
Макогон — пест для растирания маку.
Малахай — плеть.
Миска — деревянная тарелка.
Молодица — замужняя женщина.
Наймыт — нанятой работник.
Наймычка — нанятая работница.
Оселедец — длинный клочок волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очипок — род чепца.
Пампушки — кушанье из теста.

Пасичник — пчеловод.
Парубок — парень.
Плахта — нижняя одежда женщин.
Пекло — ад.
Перекупка — торговка.
Переполох — испуг.
Пейсики — жидовские локоны.
Поветка — сарай.
Полутабенек — шёлковая материя.
Путря — кушанье, род каши.
Рушник — утиральник.
Свитка — род полукафтання.
Синдячки — узкие ленты.
Сластёны — пышки.
Сволок — перекладина под потолком.
Сливянка — наливка из слив.
Смушки — бараний мех.
Соняшница — боль в животе.
Сопилка — род флейты.
Стусан — кулак.
Стрички — ленты.
Тройчатка — тройная плеть.
Хлопец — парень.
Хутор — небольшая деревушка.
Хустка — платок носовой.
Цыбуля — лук.
Чумаки — обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чуприна, чуб — длинный клочок волос на голове.
Шишка — небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка — соус, жижа.
Ятка — род палатки или шатра.



Сорочинская ярмарка

I

Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки,
Де гуляють парубки!

Из старинной легенды

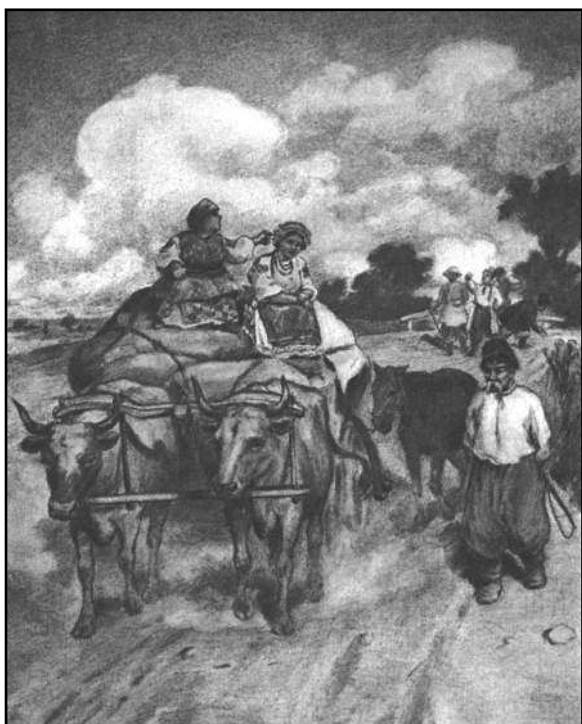
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землёю, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нём ни облака. В поле ни речи. Всё как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюблённую землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пёстрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его

чистое зеркало — река в зелёных, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, вёрст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра ещё тянулись нескончаемую вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгромождённого на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шёл за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щёголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одинок в стороне тащился на истомлённых волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брёл, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукою обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета её. Много встречных, и особливо молодых

парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с чёрными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на её очаровательной головке. Всё, казалось, занимало её; всё было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зелёной кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, и богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность её красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на весёленькое личико дочки.



Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладой, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь тёмно- и светло-зелёные листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берёз и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зелёные кудри деревьев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе её полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осенён-